

Выводы

Зачем мнутся народы, и племена замышляют тщетное?

Псалм.2:1

Великое не может быть великим, если оно лживо

Т.Г. Масарик

Итак, мы рассмотрели целый ряд концепций, нацеленных на пересмотр научной картины прошлого. Одних авторов мы рассматривали подробно, другие (А. Т. Фоменко и его коллеги, З. Ситчин) лишь упоминались по ходу нашего рассмотрения. Теперь следует подытожить: почему существует историческая антинаука (и — шире — антинаука вообще)? Каков смысл этих азартных атак на научное сообщество?

Не рискуя впасть в телеологию (поскольку речь идёт о целенаправленных человеческих действиях), мы можем изменить вопрос: антинаука существует не *почему*, а *для чего*. Перед нами — не просто неудачные попытки отдельных недостаточно подготовленных историков, а целый социальный институт со сложившимися традициями и формами. Именно поэтому авторы, друг друга не уважавшие, а часто и вовсе не знавшие друг о друге (так, Л. Н. Гумилёв не симпатизировал нацистам, а В. Н. Дёмин, по-видимому, даже не слышал о Г. Вирте), выстраивали свои системы схожими методами. А институты, как учил ещё Б. Малиновский, можно познать через их функции.

В XIX—XX вв. наука стала одной из мощных духовных сил, на которые опиралась либеральная демократия. Именно она позволила развенчать идеологии уходящих формаций — как религиозные, так и национальные: всякого рода мифы об избранных народах, о римской или сарматской крови, о чьём-либо «божественном предопределении». Не случайно там, где церковь в этот период была ещё сильна, она относилась к науке как к ереси. И в то же время наступившая индустриальная эра не позволяла усомниться в могуществе научного знания. «Идеологическая правильность» оборачивалась технической отсталостью — как в Испании инквизиторов, так и в России Магницких и Руничей. Поэтому защитники старого, аграрного мира, мира «князей и крестьян», увидели перед собой задачу: не просто низвергнуть науку, вернувшись ко временам до Галилея и Ньютона, но дать ей бой на её же поле. А поскольку в некоторых сферах это было невозможно (машина, созданная без учёта ньютоновской механики, попросту не работает), для атаки избирались (и избираются) сферы, не связанные прямо с современными технологиями, но принципиально важные для целостного научного мировоззрения: геологическая история Земли, эволюционизм, гуманитарные области. «Непризнанные гении» стали идеальными работниками на этом поприще, тем более что обычно такие люди даже не задаются вопросом: если научный мир их не признал — откуда, собственно, берутся могущественные покровители и богатые спонсоры?

Трагический XX век, когда с ужасающей полнотой сбылись самые светлые мечты прежних веков, чётко расставил акценты. Антинауку взяли на службу дикта-

торские режимы — в надежде получить *управляемую* науку, обслуживающую все нужды власти, но не претендующую на духовную свободу. Ещё Ницше (*По ту сторону добра и зла*, 207) считал, что «идеальный учёный, <...> без сомнения, представляет собою одно из драгоценнейших орудий, какие только есть, — но его место в руках более могущественного». Сам Ницше, правда, под «более могущественным» имел в виду не столько политика, сколько философа. Ведь философы, с их претензией извлекать глубочайшие тайны мироздания из недр собственного духа, в век науки оказались в положении дилетантов. Однако это «орудие» оказалось обоюдоострым, и вовсе не из-за научных амбиций: всякое научное утверждение есть одновременно запрет, его же не преидеши (Псалм.103:9). Никакая идеологическая ангажированность не позволяет создать двигатель с КПД >100%. Или вывести сорта пшеницы, не допускаемые генетикой — будь она хоть сто раз «продажной девкой империализма», как утверждала лысенковская (а за ней и сталинская) пропаганда. Или обнаружить британский флот в Тихом океане с помощью радаров, направленных под углом 45° к горизонту: именно это обещал Гитлеру П. Бендер, именно за это и заплатил жизнь. В тех сферах, где ошибка оборачивалась убытками заказчика, нищета антинауки обнаруживалась с такой ясностью, что её мог увидеть и незрячий. Не потому ли «торсионные поля» не привлекают ничего высокого внимания? Не потому ли современные «замалчиваемые гении» атакуют в основном другие сферы?

Итак, одна функция антинауки понятна: защита интересов групп (классовых, сословных или каких иных), сходящих с исторической сцены и пытающихся удержаться на ней вопреки всему — прежде всего вопреки социальному прогрессу, неотъемлемой частью которого является рост научных знаний. В этой роли её использовали диктаторские режимы, и об этой стороне дела написано уже много. Но почему тогда антинаука процветает и в демократическом обществе — например, американском (пример З. Ситчина)? Здесь её функция совсем иная, и тоже объяснимая.

С середины XIX века наука тесно связана с государством. Это — единственный спонсор, способный финансировать колоссальные проекты вроде адронного коллайдера. И именно государство (или те силы, которые рассчитывают получить в руки этот аппарат принуждения) — главный заказчик научных теорий, и не столько физических, сколько социологических. В таких условиях наука смыкается с идеологией. Много раз её упрекали в создании средств разрушения и массового уничтожения. Однако эта проблема касается не самой науки, а её социальной роли: в чьи руки попадают открытия и созданные на их основе технологии. Тот же атом, например, может быть и разрушительным, и мирным, и проблема тут — не в ядерной физике, а в том, какая власть даёт физикам и заказы, и финансирование.

Мы уже ссылались (IV.1) на мнение А. Сокала и Ж. Брикмона, что наука в такой ситуации принимает удары, предназначенные власти. Она на виду, и в то же время она кажется более доступной мишенью. В самом деле, сколько бы ни говорили лжеучёные друг о друге как о «замалчиваемых гениях», на самом деле ни один научный институт не обладает властью, чтобы пресечь публикации в популярной прессе или в изданиях, финансируемых частными лицами. К тому же нападать на Галилея безопаснее, чем на «партию и правительство». В таких условиях легко

быть смелым. Но дело, пожалуй, даже не столько в этом. Ведь антинаука бурно цветёт и в таких странах, где тоталитарных режимов никогда не было.

Ни одна диктатура, например, не запрещала эволюционную теорию. Когда в России появился один лишь слух, что глава цензурного комитета собирается запретить учение Дарвина, граф А. К. Толстой пустил по рукам *«Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме»* — и тому пришлось оправдываться. «Обезьяньи процессы» начались в демократической Америке и продолжают сегодня в демократической России. И не испанская инквизиция, а демократический афинский суд впервые начал приговаривать философов к смерти именно за их философские убеждения (процессы Анаксагора и Сократа) и впервые постановил сжечь книгу — сочинение Протагора *«О богах»*.

Оказывается, демократический климат для науки почти столь же вреден, как диктаторский. Лучше всего она чувствовала себя в XVIII—XIX веках — в условиях «просвещённой» (либеральной) монархии, а затем либеральной демократии, когда, по выражению Х. Ортеги-и-Гассета, массы уже знали, что свободны, но ещё не верили этому. Почему так?

Дело в том (напомним вновь), что наука — изначально элитарная и по определению антидемократичная сфера. В ней нет места всенародному голосованию: даже оно не может преодолеть авторитет высшей инстанции — истины. А истина — по определению одна и общеобязательна: другое дело, что отдельные люди могут видеть её отдельные стороны, не видя всю целиком (как в древней притче о слепых, ощупывавших слона). И в конечном итоге (не обязательно сразу) люди, действующие в науке, выстраиваются в иерархию строже феодальной — не по формальным академическим степеням, а по степени близости к объективной истине (хотя и академические ранги призваны выражать эту же иерархию). Можно спорить, по заслугам ли получил учёную степень Икс и не напрасно ли обойдён Игрек, но никогда знание, заблуждение и откровенная ложь не будут признаны равноправными. Спор может касаться лишь того, кто именно обладает большей долей знания, а кто — заблуждается.

Поэтому наука всегда была (и не может не быть) в политическом отношении скорее либеральной, чем демократичной. В идеологической системе Старого Режима ей отводилось место близ дворов — второе после богословов. Просвещение, а затем и революции освободили науку от необходимости считаться с религией, зато поставили лицом к лицу с рынком. Учёный оказался вынужден продавать результаты своих исследований, чтобы иметь возможность творить дальше. В результате господствующей политической ориентацией в учёном мире стала та, что описана Марксом и Энгельсом в *«Манифесте»* под названием *«Немецкий, или “истинный”, социализм»*. Характерно, что только для этой формы социализма авторы не нашли классового определения — поскольку интеллигенцию они не считали особым классом. На самом деле здесь скорее можно говорить о консервативном социализме научных работников (подробнее см.: Мосионжик 2011: 100–102). Не случайно до сих пор на Западе именно среди интеллигенции так много левых. Не случайно и то, что научные работники стали едва ли не главными «прорабами» горбачёвской перестройки, а её крах привёл, помимо всего прочего, к тяжелейшему кризису науки в бывшем СССР.

Но в последовательной (*не либеральной*) демократии такая сфера кажется чужеродной. Если любой человек, каковы бы ни были его способности, может влиять на выбор президента, — отчего же ему не влиять и на выбор научных теорий? Один из героев О. Генри (из рассказа «*Рука, которая терзает весь мир*») заявлял: поскольку он не умеет ни читать, ни писать, то и не понимает, почему он не годится в шерифы, — а стало быть, хочет быть шерифом. Борьба против высшей авторитарной власти научной истины нередко кажется «человеку с улицы» восстанием в защиту свободы слова и совести.

При этом современный «человек с улицы» — вовсе не полный профан. В отличие от героя О. Генри, он не только грамотен, но в обязательном порядке окончил среднюю школу (а в некоторых странах — уже и колледж). Он в курсе большинства современных достижений (хотя оценивает их ненаучно), его успели познакомить с радостью самостоятельного творчества. Однако он незнаком с буднями научного труда (ему рассказывали лишь о звёздных часах науки, вроде знаменитого сна, в котором Менделеев увидел свою таблицу), его охватывает мистический ужас при виде даже простой формулы. Кроме того, он практик, и если понимает, что Нобелевская премия — награда слишком редкая, чтобы и он тоже мог на неё надеяться, то уж приз в «*Поле чудес*» для него — законная цель знаний. Разница между научным трудом и компиляцией, между верифицируемым экспериментом и единичным случайным наблюдением — для него тайна. И он охотно верит, что эту тайну кто-то от него скрыл специально: ведь он привык к персонификации зла. К «проекции своей Тени вовне», как называл это явление К. Г. Юнг.

Здесь, впрочем, возможны варианты. Вот один из них. В демократическом обществе профессия не предопределяется рождением: «сто путей, сто дорог для тебя открыты». И человек, воспользовавшись своим демократическим правом, выбирает профессию, не требующую умственной работы. Как фонвизинский Кутейкин — «убояся бездны премудрости». Он горд своей свободой: от любого начальника, который ему не понравился, он может уйти на другое место. Однако постепенно он начинает замечать, что все начальники в чём-то одинаковы, а на любом рабочем месте он зависит от обстоятельств, которых не может даже понять. Ведь для этого нужна такая степень образованности, от которой он сам *добровольно* отказался. Как должен такой «серый» человек осмыслить происходящее? Как заговор образованных, то есть, по его мнению, «слишком умных». Все его дальнейшие рассуждения будут касаться лишь объяснения, отчего же эти люди слишком умны. Чаше всего он выберет самое простое и примитивное объяснение — расовое: все они — евреи. Впрочем, в Юго-Восточной Азии ту же роль будут играть китайцы, в Восточной Африке — индийцы, в Латинской Америке — либо «гринго», либо «сирийцы» (ливанские христиане, занявшие в Новом Свете ту же социальную нишу, что и евреи — в Старом Свете). Дело не в этом: с этого момента события начнут развиваться по одному и тому же сценарию. И поскольку сила этих «пришельцев» — в уме, постольку ум для серого человека — отрицательная ценность. При случае его нетрудно будет поднять на разгром университетов, как это случилось в Таиланде в 1973 году. Сам он не поднимется: для *организации* массовых действий тоже умственные усилия нужны.

Такого человека даже сложно назвать «наследием царского режима». Ведь в аграрном обществе эти люди оставались не только необразованными, но и по опре-

делению социально принижены. Просветителям и утопистам будущее демократическое общество представлялось царством всеобщей интеллигентности. Практика разбила эту мечту: именно в свободной Америке функциональная неграмотность достигла уровня, невиданного ни в какой другой развитой стране. Демократия отошла (без сознательного намерения) от идеала Просвещения в том, что дала серому человеку *равноправие без образования* — если не по закону, то на деле.

Но это — серый человек, *koltun*, как называет его М. Оссовская. Иное дело — филистер, высшая форма обывателя. Если серый человек просто неспособен понять высокие идеи, то филистер — понимает, но относится к ним потребительски. Поддерживая порядок, дающий ему материальный и духовный комфорт, он не станет жертвовать жизнью ни за этот порядок, ни вообще за что-либо в мире. Его духовные запросы простираются не дальше пользы для здоровья (вариант — «само-развития» как самоцели).

Такой человек не просто пользуется плодами науки, не замечая трудов, которые понадобились для их получения (в чём его упрекал Ортега-и-Гассет). Он сам не прочь поиграть в раскрытие тайн природы и истории — но именно поиграть. Так же как в игре «Монополия» он может вообразить себя Рокфеллером, а в стратегической военной игре — Наполеоном. Ему нужен суррогат науки, в котором любая пришедшая ему в голову мысль считалась бы открытием, на мнение «упрямых» академиков можно было бы не обращать внимания, а скучный вопрос о методологии даже и не вставал бы.

Эту-то духовную потребность и удовлетворяет антинаука.

Обширная, хотя и поверхностная эрудиция роднит лжеучёного с его потенциальным читателем. В самом деле, раз уж этот читатель взял в руки, например, книги В. Н. Дёмина, значит, он и до этого интересовался историей — на уровне хотя бы внеклассной литературы для средней школы. К объёму фактов, сообщаемых в этой литературе, обычно мало что добавляется. Но место научной методологии занимает простейший шаблон, пользование которым доступно любому читателю. Автор как бы приглашает его к увлекательной игре: раз уж ясно, как следует объяснять сведения, полученные ещё в школе, раз уж, например, история России объяснена с точки зрения «фаз этногенеза», — кто мешает тебе объяснить по той же схеме, допустим, историю древнего Египта? Читатель польщён: одной левой, без поисков в архивах, без раскопок, без изматывающей защиты диссертаций он совершил научное открытие! И эту возможность дал ему автор, а академическая наука — не дала!

Богослов сравнил бы это с попыткой достичь Царствия Небесного одним прыжком. Серьёзный даос — с «пилюлей бессмертия», делающей ненужным долгий поиск истинного Пути: вознеслись же на небо вслед за Хуайнаньским князем даже собаки и куры, подьевшие крошки от этой пилюли!

В этом отношении А. Т. Фоменко заметно проигрывает Л. Н. Гумилёву: сократив историю до 800 лет и объяснив всё на свете разом, он не оставил простора для игрового продолжения. Зато такими продолжениями заполнены, например, страницы сайта «*Gumilevica*» или толкиенистских изданий.

Антиучёный любит разделяться с идеями Просвещения. Это он, конечно, зря. Ибо чем же отличается его хваленая «интуиция» от «естественного света разума», на который так любили ссылаться просветители? Того единственно воз-

можного разума, с точки зрения которого они видели, например, в Библии только «верх смешного либо верх ужасного»? Современная библейская критика очень далеко ушла от наивной средневековой экзегетики, но всё же с последней у науки куда больше общего, чем с плоской критикой Вольтера и его эпигонов. Например: как церковная экзегетика, так и наука требует знать историографию проблемы — то есть ссылаться не только на факты и оригинал комментируемого текста, но и на мнение прежних его исследователей, требует обосновывать каждое утверждение, не признаёт иронию самодовлеющим аргументом. Как экзегетика, так и наука не приемлет «теории мирового заговора» («религия как результат встречи дурака с плутом») именно из-за её крайней наивности: любое разночтение, даже любая описка в Священном Писании для них обеих говорит не о «глупости» или «обмане», а о чём-то гораздо более конкретном.

Среди всех смещений, на которых держится антинаука, не последнее место играет смещение двух жанров научной литературы: специальной и популярной. Творчество лжеучёных целиком относится к популярному жанру и тут, как ни странно, способно принести некоторую пользу. Так, Л. Н. Гумилёв действительно показал кочевников широкой публике не просто как дикарей, а как людей в своём праве, как создателей культуры, которой мы многим обязаны. До него такой взгляд был уделом немногих специалистов-кочевниковедов, школьникам же по инерции внушались стереотипы времён российской колониальной экспансии, призванные оправдать покорение кочевых народов. Эта заслуга Л. Н. Гумилёва должна быть признана, и не случайно в столице Казахстана его именем назван научный центр. К сожалению, как мы видели, вред от антинаучных расистских построений Л. Н. Гумилёва далеко превосходит эту несомненную пользу.

Итак, антинаука в демократическом обществе — это суррогат демократии в научной сфере. Подлинная наука не способна дать такой суррогат: иначе она перестанет выполнять собственные функции, без которых не может существовать никакое современное общество. Но ведь эта сфера — не единственный остров иерархии в мире всеобщего правового равенства! Даже в США, гордящихся своими демократическими традициями, всё-таки не избирают ни генералов, ни министров. А председатели правления фирм — избираются, но не всенародно. Поэтому взгляд на науку как на *самую* недемократическую сферу такого общества, мягко говоря, преувеличен.

Может ли, однако, антинаука, вроде бы пышно расцветающая именно при демократии, прокладывать путь диктатуре? Да, может — в расчёте на то место, которое она занимает при диктаторских режимах. Не случайно, например, А. Г. Дугин в наши дни так усиленно реанимирует идеи Г. Вирта и ему подобных, хотя и знает об их эсэсовском прошлом.

Чтобы обезвредить антинауку, необходимо найти ей замену — нечто такое, что могло бы выполнять её функцию в сфере творчества, но не такой ценой. Автор этих строк должен сознаться: он долго колебался, прежде чем включить Дж. Р. Р. Толкиена в свою выборку. За что имени Профессора стоять рядом с такими именами, как Розенберг или Вирт?! Однако теперь ясно, что сделать это стоило. Толкиенистские игры — не менее захватывающие, чем те, что предложил своим последователям Гумилёв. Но при этом они *не конкурируют с наукой* (ведь речь идёт о параллельном мире!) и *не претендуют на политическую роль*. Более того, подлинному толки-

енисту открывается свой, пусть очень своеобразный, путь в культуру. Ведь, кроме истории Средиземья и «высокого эльфийского наречия», он — в качестве материалов к исследованию творчества Профессора — познаёт историю раннего средневековья и языка того времени (включая древнеанглийский и исландский). А мораль мира Толкиена — строго христианская. Такая игра не подрывает общество. Более того, она даёт выход тяге к со-творчеству (термин того же Толкиена), к соучастию в Творении виртуального мира.

Не могу не вспомнить при этом о рассказе великого кинорежиссёра Ежи Теодоровича (конференция «*Kultura i Edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej*», Крайсичин, июнь 2002 г.). Перед своей студией в Новой Гуте (близ Кракова) он ставит не столько художественные, сколько воспитательные задачи: это можно назвать социальной арт-терапией. Так, однажды он снял фильм «*Ромео и Джульетта*», причём роль враждующих семейств у него играли скинхеды и панки. То, что в ходе съёмки артисты научились сотрудничать между собой, поразило всех, кто это видел. Однажды Теодорович поехал вместе со своими артистами в Германию — продемонстрировать фильм, и там по их вине случилось ДТП. Но когда немецкие полицейские увидели панков и скинхедов, *вместе* выталкивающих машину из кювета, то были так потрясены, что забыли про штраф. Но главное, как подчёркивал режиссёр, даже не это: после съёмки большинство их участников покинуло свои движения. Они поняли, что реальный мир гораздо интереснее и человечнее, чем их замкнутые мирки.

Быть может, именно такое со-творчество, какое предлагал Дж. Р. Р. Толкиен (и проводил в жизнь Е. Теодорович), и есть противоядие против антинауки? Быть может, это и есть то, что мы искали: *безвредный исторический миф*?

Увы, это не выход, а самое большее паллиатив. Р. Панковский (Pankowski 2006: 75) упоминает норвежскую неонацистскую рок-группу «*Burzum*» с её лидером «*Count Grishnack*» — эти слова взяты прямо из «*Властелина Колец*». Видимо, прежде чем перейти к неонацизму и сатанизму, эти молодые люди участвовали в «хоббитских играх» в роли орков. Их Профессор остановить не смог. А кроме того, главная наша проблема — именно *политические* мифы, без которых не может обойтись ни одно правительство. Ведь миф — единственная связная форма повествования о ценностях, известная человечеству. Лишь рационализация такого повествования — например, религиозная философия (вспомним её историю в средние века).

Человечество не едино, больше того — не может и не должно быть единым: его варибельность — гарантия его выживания. На какие-то вопросы более удачный ответ находит европейская культура, а на какие-то — например, китайская или африканская. Но как обосновать, почему нашей стране лучше быть *особым* случаем великого эксперимента Истории? Сделать это с помощью разума невозможно: он предложит лишь объективные суждения, единые для всех стран, времён и народов. Не только каждой стране, но и каждому человеку приходится выбирать *регулятивные* цели, чтобы жить не как все. Иначе говоря, выбирать один из возможных мифов и убеждать себя, что этот миф — лучший из возможных. Поэтому мифы (в том числе и политические) будут существовать и дальше — хотим мы того или нет. В том, что они будут разными, — залог человеческой свободы вообще. Без этого нас ждёт только «разумное» (что значит — запрограммированное) будущее.

Значит ли всё сказанное, что антинаука предлагает нам альтернативные пути к новым мирам? Нет! Эти пути — ложные, они ведут не к свободе, а лишь к иллюзии. Ведь свобода есть *осознанная* необходимость. Эту фразу, вырванную из контекста и превращённую в лозунг, обычно понимают неправильно — как «любовь к судьбе», чуть ли не в духе стоиков: покоритесь и попытайтесь найти в этом удовольствие. Между тем у самого же Энгельса ударение в этом тезисе стоит не на слове «необходимость», а на слове «осознанная»:

«Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем *свободнее* суждение человека по отношению к определённому вопросу, с тем большей *необходимостью* будет определяться содержание этого суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчинённость тому предмету, который она как раз и должна была бы подчинить себе. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы [Naturnotwendigkeiten] господстве над нами самими и над внешней природой» (Энгельс 1986 {1877—1878}: 104—105; подчёркнуто везде Ф. Энгельсом).

Так, человек хочет летать, как птица, но этому мешают законы природы. Можно пытаться перескочить через них и раз за разом делать одни и те же восковые крылья, на которых конструктор «волен» лететь только в одном направлении — с колокольни вниз. Но можно познать эту треклятую необходимость — законы ньютоновской механики, аэродинамики, сопротивления материалов, — и тогда можно создать летательный аппарат тяжелее воздуха. И мы летим, хотя ни один закон при этом не нарушен! Познание необходимости даёт победу над ней, освобождает от власти слепых и безличных законов, — таков единственный путь. Свобода есть подлинное знание, всё остальное может дать лишь иллюзию.

Есть наука, дающая человеку социальное и культурное освобождение без ухода в область мифов и без хулиганских нападков на беззащитные тени Галилея и Дарвина. Это — *антропология*, то есть наука о возможных вариантах человеческого поведения в любой сфере. На каждый вопрос она отвечает: и брак бывает разный, и семья, и понятие о власти, и о собственности, — и всё это нормально, всё по-человечески. Конечно, конкретные формы брака или власти принадлежат разным культурам, там они причинно обусловлены. Но современные люди могут из этих форм творчески создавать новые комбинации, фактически — творить новые культуры из имеющегося материала, не нуждаясь в обосновании: мол, так жили атланты или блаженные гипербореи. Неважно, делал ли так кто-нибудь до нас, — важно, что мы сами отныне намерены так жить!

А стало быть, отпадает нужда в антинаучных исторических мифах вообще. Конечно, мифы творятся и самими историками (вспомним анализ Лучиана Бойи), но теперь они начинают выполнять свою подлинную задачу: оценки *реального* прошлого, критериев выбора того, что в нём достойно сохранения. И силы людей, настроенных так, не будут уходить на бесплодную борьбу со всей мощью науки во имя заведомых фантазий. Их цели вообще не противоречат научному знанию, так как лежат в иной сфере — ценностной. Утопия, то есть миф о достойной альтернативной реальности *в настоящем и будущем*, — вот какова может быть вера таких людей. А ретроутопия (миф о достойном *прошлом*) им не понадобится.

Мифологическое сознание — это прекрасное детство человечества. Но детство должно когда-нибудь кончаться. В наших руках слишком разрушительные силы, чтобы можно было относиться к ним по-детски наивно. А уяснение масштабов Вселенной, для которых вся Солнечная система — не больше пылинки на краю одной из галактик, — должно заставить понять: смешно рассчитывать, что кто-то с неба заботится о нас одних и всегда подстелет соломку, как бы мы ни упали. Или мы будем вести себя разумно и ответственно, или... где-нибудь в Космосе для рода человеческого найдутся дублёры. Ответственность перед собой, человечеством и (если отдать дань космизму) перед Вселенной несовместима с ребяческой психологией. Пора взрослеть.